

ВВЕДЕНИЕ

Историческая наука последнего сталинского десятилетия (1940-е — начало 1950-х гг.) не обделена вниманием исследователей. Сравнительно недавно было опубликовано несколько монографий, освещающих развитие историографии в указанный период. Этот интерес не случаен и обусловлен несколькими причинами. Во-первых, исследовательской логикой, диктующей необходимость последовательно «осваивать» малоизученные периоды, выстраивая их в единую эволюционную цепочку. Так получилось, что именно изучение послевоенного времени оказалось необходимым шагом для цельного осмысления сложного развития советской исторической науки. Во-вторых, общим для современной исторической науки вниманием к эпохе «позднего сталинизма», оказавшейся ключевой развилкой в развитии советской системы, где сталинизм, с одной стороны, достиг апогея, а с другой — зрели процессы, подготовившие десталинизацию. В-третьих, именно послевоенное время является периодом окончательного формирования собственно советской исторической науки (до этого научную среду можно было называть, из-за значительного числа историков «старой школы», «советской» с определенной долей условности) и ее инфраструктуры. В этом смысле именно эта эпоха оказывается ключевой для понимания как достижений советских историков, так и выявления причин упадка и разрушения советского «историографического колосса».

Важнейшим содержанием духовной жизни послевоенного советского общества стали идеологические кампании и дискуссии. Удивительно, но в историографии до сих пор нет монографии, специально посвященной этим событиям. Историографы с разных сторон анализировали развитие советской исторической науки в эпоху «позднего сталинизма», но идеологические кампании и их влияние на историографический процесс по разным причинам обходились стороной. Кто-то считает, что это лишь внешний фактор по отношению к науке, который не надо переоценивать. Кто-то, следуя выбранной методологической модели, апробированной на более ранних периодах и другой проблематике, делает акцент на определенные стороны процесса, теряя совокупность явлений и событий. Конечно же, можно верить, что идеологические процессы — лишь досадный фон для развития исторической науки, но это не так. Власть и знание тесно связаны, теснее, чем хотелось бы.

Есть и еще одна, отнюдь не последняя, причина, почему идеологические кампании заслуживают самого пристального внимания. Дело в том, что через горнило

кампаний прошли практически все историки, впоследствии ставшие гордостью советской, а затем и российской исторической науки, символом ее достижений и традиций. Многочисленные биографии, посвященные уходящему поколению классиков, в которых послевоенные погромы неизбежно всплывают в качестве биографических фактов, нередко засорены ошибками и оценочными передержками. Сложившаяся историографическая ситуация напоминает перепутанный пазл, в котором общая картина никак не желает складываться. Одни части картинки уже собраны, другие хаотично собираются, третьи — потеряны, а четвертые вообще не нарисованы. Собрать этот пазл и представить более или менее целостную картину — одна из задач предлагаемой книги.

Территориальные рамки исследования ограничиваются столицами — Москвой и Ленинградом. Преимущество отдается Москве. Это связано и с доступностью для автора местных архивов, и с тем простым соображением, что именно здесь, где были сосредоточены ведущие научные силы Страны Советов, идеологические кампании прошли наиболее шумно, а полученный материал может служить прочным фундаментом в объяснении процессов. Региональные образовательные и научные центры сознательно оставлены за скобками. Автор исходил из постулата, что прохождение кампаний определялось состоянием среды историков. Поэтому учет национальных (в союзных республиках) и региональных специфик — задача кропотливая и крайне непростая. Распутывание сложной паутины местных связей и конфликтов требует особых усилий и немалого времени. Оставим это местным исследователям. Тем более что процесс уже идет полным ходом и дает крайне интересные результаты, заметно отличающиеся от столичных.

В центре внимания отнюдь не случайно оказывается Институт истории АН СССР (включая и Ленинградское отделение Института истории (ЛОИИ)). Институт являлся центральным научно-исследовательским учреждением, в котором были сосредоточены лучшие историки страны. Поэтому Институт оказался в самом эпицентре кампаний. События, проходившие в вузах, представляются вторичными. Есть и еще один нюанс. Архивы Института несравненно лучше сохранились и более доступны, чем документация высших учебных заведений. Это позволяет если не восстановить картину полностью, то, во всяком случае, получить более или менее целостный событийный ряд.

Теперь немного о структуре текста. Он комбинирует проблемные и нарративные главы. Первые преимущественно посвящены явлениям, вторые — событиям. Поскольку в центре внимания неизбежно оказываются собрания, реализующие установки кампаний, то источниковой основой стали стенограммы и протоколы, а также опубликованные отчеты. Такая ситуация ставила вполне конкретный вопрос: как выстраивать архитектуру текста, описывающего собрания? Можно было предложить в основе аналитический текст, где были бы показаны основные тенденции, типология и т.д. Но в этом случае есть серьезное возражение. Дело в том, что каждое собрание обладало собственной внутренней драматургией, захватывающей читающего стенограммы. «...Чтение оказалось настолько захватывающим, что от него было невозможно оторваться»¹, — делится своими впечатлениями

¹ Зарецкий Ю. П. Стратегии понимания прошлого. М., 2011. С. 98.

Ю.П. Зарецкий от ознакомления со стенограммой заседания кафедры истории средних веков МГУ в 1949 г. Таково странное обаяние трагедии. Поэтому в итоге был выбран второй вариант, повествовательный в основе, построенный на «плотном описании», когда читателю предлагается достаточно подробный, хронологически последовательный ход собраний.

И последнее. Многие из фактов, приведенных в книге, не поддаются однозначной моральной оценке. По наблюдению современного исследователя Л. А. Сидоровой, «...корпоративная солидарность, не говоря уже о нравственной позиции историка, в условиях интенсивных идеологических чисток середины прошлого века постоянно давала сбои...»². Понимаю, что монография может вызвать гнев и недоумение части читателей, которые будут задаваться резонным вопросом: «Зачем было ворошить, кому так легче станет жить?!» Поэтому подчеркну, что при исследовании руководствовался замечательным завещанием М. Блока: «Понимать, а не судить!»³.

² Сидорова Л. А. Советская историческая наука середины XX века: Синтез трех поколений историков. М., 2008. С. 47.

³ Блок М. Апология истории. 2-е изд. М., 1986. С. 82.

ГЛАВА 1

СОВЕТСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА «ПОЗДНЕГО СТАЛИНИЗМА» КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОБЛЕМА

1. Феномен советской науки и ее основные черты в 1930 — начале 1950-х гг.

Современная цивилизация не может существовать, не опираясь на рациональное научное знание. Поэтому в обществе неизменно растет интерес к истории науки, осмыслению законов ее развития и механизмам функционирования. Проблема взаимосвязи науки и других социальных институтов на данном этапе находится в центре внимания многих научных дисциплин. Крайними позициями в этом вопросе являются интерналистский и экстерналистский подходы. Если с точки зрения первого развитие науки происходит благодаря внутренним законам и независимо от общества, то второй подход, наоборот, постулирует социальный заказ как определяющий фактор¹.

Как это обычно бывает, истина где-то посередине. Необходимо признать, что наука, в особенности гуманитарная, является частью социальных практик², выступает важным общественным институтом. Более того, процесс институционализации науки теснейшим образом связан с формированием в Новое время государства современного типа³, зачастую разделить развитие государственных институтов и науки невозможно. Справедливо это и в отношении советской науки: «Корреляция между двумя социальными институтами — властью и наукой в советский период нашла свое отражение в механизмах социальной и когнитивной институционализации науки, в умалении конкуренции между исследовательскими группами, в формировании специфических форм иерархизации научных школ и направлений, в монополизме некоторых из них, в выдвижении новых авторитетов в научном сообществе и в продвижении идеологически верных псевдоавторитетов»⁴.

Проблема взаимоотношения науки и власти продолжает остро волновать исследователей. Основным трендом является признание тесной взаимосвязи власти и науки как общественного института. Согласно М. Фуко: «Пожалуй следует отбросить... целую традицию, внушающую нам, будто знание может существовать

¹ Кохановский В. П., Лешкевич Т. Г., Матяш Т. П., Фатхи Т. Б. Основы философии науки. Ростов-на-Дону, 2005. С. 545.

² Ле Гофф Ж. История и память. М., 2013. С. 14.

³ Колчинский Э. И. Предисловие редактора // Наука и кризисы. Историко-сравнительные очерки / Редактор-составитель Э. И. Колчинский. СПб., 2003. С. 5.

⁴ Огурцов А. П. Предисловие // Подвластная наука? Наука и советская власть. М.: Голос, 2010. С. 6.

лишь там, где приостановлены отношения власти, и развивается лишь вне предписаний, требований и интересов власти... Скорее, надо признать, что власть производит знание (и не просто потому, что поощряет его, ибо оно ей служит, или применяет его, поскольку оно полезно); власть и знание непосредственно предполагают друг друга; что нет ни отношения власти без соответствующего образования области знания, ни знания, которое не предполагает и вместе с тем не образует отношений власти»⁵. По мнению известного специалиста по философии и истории науки А. П. Огурцова, «в наши дни все более и более осознается то, что отношения между наукой и властвующими инстанциями нельзя трактовать как отношения кардинально отличных друг от друга сущностей, что инстанции власти не внеположны науке, но имманентны ей»⁶.

Нередко говорится о симбиозе государства и науки: «В рамках этого симбиоза государство стремится использовать науку для получения знаний, применимых для развития его экономической и военной мощи, для идеологического оправдания своей политики, для повышения международного престижа... В свою очередь наука использует государство как крупнейшего, а при некоторых тоталитарных режимах и как единственного заказчика...»⁷. При этом подчеркивается, что науке отводится подчиненная роль: ученые должны усваивать «язык власти», встраиваться в механизмы ее функционирования. В условиях ограниченности финансирования особую значимость приобретает лоббирование исследовательских проектов во властных структурах. Это подтверждает наблюдение о том, что в обществах, где «государственный бюджет становился единственным источником финансирования научных исследований, конкуренция внутри научного сообщества за покровительство власть предержащих резко обострялась»⁸.

Признание тесной взаимосвязи власти и науки не отменяет факта заметной автономии научного сообщества, его функционирования по специфическим законам. Тем не менее, власть представляется не только как внешний по отношению к нему феномен, но и как необходимый элемент жизни самого сообщества. Признается тот факт, что ученые сами представляют часть элиты общества⁹, а внутри научного сообщества происходит расслоение на научную элиту и научную интеллигенцию. Первые, благодаря своим уникальным исследовательским способностям, занимают особое положение, вторые — формируют среду их деятельности и являются кадровым источником для научной элиты¹⁰. В СССР принадлежность к элите определялась не только чисто научными качествами, но и партийностью. Для избранной темы это наблюдение важно из-за необходимости учета «расслоения» советских ученых на основе их места не только в научной, но и партийной иерархии.

⁵ Фуко М. Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы. М., 1999. С. 42–43.

⁶ Огурцов А. П. Научный дискурс: власть и коммуникация // Подвластная наука? Наука и советская власть. М.: Голос, 2010. С. 747; См. также: Баранец Н. Г. Значение власти для выработки норм в научном сообществе // Власть. 2011. № 7. С. 55–57.

⁷ Колчинский Э. И. Указ. соч. С. 5.

⁸ Там же. С. 9.

⁹ Кислицын С. А. Научная элита в системе политической власти. 3-е изд. М., 2013. С. 4–5.

¹⁰ Там же. С. 9.

Помимо теорий, постулирующих тесную связь науки и власти, в науковедении существует немало концепций, анализирующих науку как специфическую сферу жизни общества. Особой популярностью в последние годы пользуются работы П. Бурдые, предложившего теорию «научного поля», где поле — система из отдельных личностей, научных школ, институтов, которая развивается по специфическим законам власти и подчинения. Деятельность ученых в данной концепции описывается по аналогии с поведением участников рыночных отношений, борющихся за капитал. Только в среде ученых борьба идет за символический капитал (авторитет, административные посты и т. д.), позволяющий вербовать сторонников (учеников) и навязывать научному сообществу свое мнение. При этом социолог подчеркивает, что в результате развития научное поле становится во многом автономным и способным к продуцированию собственных конвенций¹¹. С моей точки зрения, модель П. Бурдые вполне подходит и к изучению советской науки. Но с учетом, во-первых, того, что борьба за «символический капитал» шла с активной апелляцией к партийным органам как единственному и высшему контролеру. И, во-вторых, с учетом того, что советская власть делала многое, чтобы автономный по отношению к обществу характер научного поля нивелировался. Необходимо подчеркнуть, что вмешательство власти в жизнь научного сообщества СССР было на порядок выше, чем в либерально-демократических режимах, где ученые могли найти иные социальные опоры и источники финансирования и где репрессии были ограничены правовым полем. Но до конца поглотить научное поле не удалось: научное сообщество сохранило многие черты специфической академической культуры и не встроилось окончательно в партийно-государственную систему.

Феномен советской науки уже неоднократно становился объектом исследований. Если в советское время неустанно говорилось о поступательном развитии науки, которой были созданы все условия для этого, то в 1990-е гг. особую популярность получила метафора «репрессированная наука»¹². В русском зарубежье еще до развала СССР активно использовался термин «управляемая наука»¹³.

Историк Л. Г. Берлявский для понимания специфики советской науки предложил термин «сциентический тоталитаризм», который он определял как «научную политику, ориентированную на ускоренную модернизацию страны и предполагавшую полное огосударствление и планирование в системе организации науки, утилитарное отношение к ней, экстенсивный рост сети научных организаций, приоритет развития отраслей науки, обслуживающих военно-промышленный комплекс, идеологизацию гуманитарных наук, ограничение свободы научных исследований партийно-государственным аппаратом, репрессирование деятелей науки, подготовку научных кадров исходя из социального происхождения»¹⁴. Приходится констатировать, что по сути автор просто перечислил некоторые черты,

¹¹ Бурдые П. Поле науки // Бурдые П. Социальное пространство: поля и практики. СПб., 2014. С. 473–517.

¹² Ярошевский М. Г. Сталинизм и судьбы советской науки // Репрессированная наука. Л., 1991.

¹³ Поповский М. Управляемая наука. London, 1978.

¹⁴ Берлявский Л. Г. Власть и отечественная наука (1917–1941). Ростов-на-Дону, 2004. С. 357.

присущие советской науке при Сталине, не вдаваясь в их концептуальное осмысление. Не вполне ясно, является ли «сциентистический тоталитаризм» специфическим советским феноменом. Многие перечисленные явления можно обнаружить и в других обществах, традиционно не относимых к тоталитарным. Через призму этой концепции не видно внутреннее положение самих ученых.

Внимательнее к характеристике советской науки подошел науковед В. А. Леглер, который еще в конце 1980-х гг. применил понятие «квазинаука». Ее существенные характеристики заключаются в следующем: систематическое использование репрессивного ресурса, отрицание мировой науки, преобладание негативного содержания над позитивным (то есть критика других концепций без предложения собственной), «в ряде случаев содержание квазинауки определяется неким каноническим текстом»¹⁵. Для квазинауки важно наличие лидера, который направляет исследования, корректирует их. Безусловным лидером являлся сам Сталин. Своеобразной особенностью квазинаук является способность находить факты, не существующие в реальности, но подтверждающие политически целесообразные концепции. «Сопrotивление» фактов теории в данном случае решается просто: их заставляют соответствовать теории, а если нужных для доказательства тех или иных положений фактов не оказывается, то их домысливают. Итак, некоторые отрасли советской науки, безусловно, являлись квазинаукой или имели какие-либо ее элементы. Особенно это было заметно в общественных и гуманитарных областях, где исследование зачастую превращалось в поиск с заранее заданным результатом. В то же время ученые умудрялись даже в рамках квазинауки делать важные открытия. Конечно же, невозможно всю советскую науку рассматривать через призму описанной модели. Но и отрицать перечисленные выше черты тоже нельзя. Классическими примерами квазинауки в СССР являются «лысенковщина», марксизм, сталинская историческая концепция, воплощенная в «Кратком курсе».

Но концепции, разделяющие ученых и советскую власть, показывающие исключительно их конфронтацию, не смогли адекватно объяснить феномен советской науки. Выше уже говорилось, что связь науки и власти — явление типичное для современной цивилизации. То же, в гипертрофированном виде, историки обнаруживают и в СССР. Так, Н. Кременцов, американский историк русского происхождения, указывает на то, что наука в СССР развивалась в тесном симбиозе с государством-партией. Он признает, что контроль над учеными был чрезвычайно высок, но те вполне приспособились к нему и умели использовать в своих интересах партийную бюрократию¹⁶.

В том же ключе рассуждает и Г. А. Бордюгов. Он подчеркивает вынужденную и неизбежную в условиях репрессивного режима адаптацию интеллигенции (под которой им подразумеваются ученые) к требованиям власти. Признавая ряд явных противоречий во взаимоотношениях, историк указывает на любопытный феномен: «В соприкосновении государственной идеологии и интеллигенции не могли не обнаружиться противоречия, создающие различные тупиковые ситуации.

¹⁵ Леглер В. А. Идеология и квазинаука // Подвластная наука? Наука и советская власть. М.: Голос, 2010. С. 86.

¹⁶ Kremenstov N. Stalinist Science. Princenton, 1997.

Но парадокс заключался в том, что фиксируя их, представители интеллигенции нередко пытались подсказать власти, как объяснить, “замять” или обойти очевидные слабости новых установок. Постепенно складывался порочный круг взаимного прикрытия и использования друг друга в искусственном сглаживании противоречий¹⁷. Руками самих ученых фактически реализовывался режим идеологической бдительности. Забегая вперед, можно указать, что наиболее ярко это проявилось как раз в годы послевоенных идеологических кампаний.

Схожее видение проблемы находим у российского историка науки Д. А. Александрова. Анализируя широко известную концепцию-метафору «немецких мандаринов» Ф. Рингера, по которой немецкие профессора конца XIX — первой трети XX в. являлись по сути чиновниками-интеллектуалами на службе Рейха (второго и третьего)¹⁸, Д. А. Александров признает, что концепцию «мандаринов» можно применить и в отношении советских ученых, которые «не просто получали жалованье и многочисленные привилегии от государства, они чувствовали, что служат своей стране и ее культуре, а сам их тесный симбиоз с государством был выведен за пределы их сознания»¹⁹.

Описанный эффект был достигнут благодаря длительному процессу институциональных изменений в советское время. После революции и нескольких лет относительного компромисса между научным сообществом и большевиками началась перестройка системы научных учреждений. Это выразилось в их переподчинении, укрупнении, пересмотре исследовательских программ, репрессиях и привлечении нового поколения ученых, лояльных к властям, и т. д. В результате была сформирована новая система науки, науки советской, характерными чертами которой стали централизация, еще более усилившаяся связь с государством, установка на изоляцию по отношению к мировой науке. Научное сообщество вынуждено было жить и работать по критериям, не выработанным внутри него, а навязанным извне. Правда, такое положение дел для многих казалось само собой разумеющимся. Более того, на смену ученым-энциклопедистам дореволюционной эпохи приходили ученые, ограниченные в своем интеллектуальном выборе, поскольку были знакомы только с одной, марксистско-ленинской, материалистической парадигмой²⁰.

Особенностью 1940–1950-х гг. стало сращивание научного сообщества и бюрократии²¹. Выпускники вузов, в том числе и остепененные, шли в чиновники,

¹⁷ Бордюгов Г. А. «Сталинская интеллигенция». О некоторых смыслах и способах ее социального поведения // Новый мир истории России. Форум японских и российских исследователей / Под ред. Бордюгова Г., Иссии Нориз и Томита Такэси. М., 2001. С. 348.

¹⁸ Русский перевод: Рингер Ф. Закат немецких мандаринов. М., 2008.

¹⁹ Александров Д. А. Немецкие мандарины и уроки сравнительной истории // Рингер Ф. Закат немецких мандаринов. М., 2008. С. 630.

²⁰ Юдин Б. Г. История советской науки как процесс вторичной институционализации // Подвластная наука? Наука и советская власть. М.: Голос, 2010. С. 103–138; см. также: Соколова Ф. Х. Власть и интеллигенция советского общества: становление модели взаимодействия // Власть и общество в условиях диктатуры: Исторический опыт СССР и ГДР. 1945–1965. Архангельск, 2009. С. 203–215.

²¹ Байдару Д. Интеллигенция и власть: советский опыт // Отечественная история. 1994. № 2. С. 129; Балакин В. С. Специфика социокультурного развития советской науки в 1950-е — 1970-е годы // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 2007. № 24. С. 8.

но нередко из чиновников возвращались в науку. До сих пор нет четкого термина для обозначения этой группы. В литературе можно найти понятия «партийная интеллигенция» и «околонаучная бюрократия». Если первый термин делает акцент на вхождение интеллигенции во властные круги, то второй скорее указывает на формирование внешней по отношению к ученым группы контроля, приходящей из государственных и партийных структур в науку. Приходится констатировать, что пока полноценного исследования на эту тему нет. С моей точки зрения, уместнее говорить о первом сценарии. Это подтверждается и процессами, проходившими в среде профессиональных историков в послевоенное время.

Появление «партийной интеллигенции» привело к тому, что, с одной стороны, контроль над наукой усилился, хотя и смягчился внешне: теперь ее курировали чиновники, тоньше понимающие особенности работы и среды ученых. С другой стороны, они стали действенным каналом коммуникации научного сообщества и властных структур.

Таким образом, ученые постепенно оказались частью советской элиты. Но за привилегии пришлось заплатить: «В условиях жесткой конкуренции между западным и восточным блоками сложившаяся до войны в СССР система взаимоотношений науки и государства была укреплена и ужесточена, но степень вмешательства партийно-государственного аппарата предопределялась прежде всего значимостью той или иной отрасли знаний для укрепления военно-промышленного комплекса.... Вместе с тем “Железный занавес” и идеология “особости” советской науки обусловили постоянное вмешательство партийно-правительственных органов в организацию и функционирование научного сообщества, что привело к доминированию псевдонаучных построений в отдельных областях научного знания»²².

Еще одной особенностью советской науки являлась ее открыто декларируемая идеологизированность. Наука в СССР рассматривалась как инструмент преобразования мира. Идея чистого знания объявлялась не просто иллюзорной, но и даже опасной. Для советского проекта наука была такой же социальной практикой, как и политика. Отсюда такое стремление И. В. Сталина оказаться в роли великого ученого и его внимание к научным проблемам.

В этой связи важно понять роль ученых в советском обществе, которое, с одной стороны, официально строилось на научных основах, и следовательно, там официально господствовал культ науки, а с другой — лозунги диктатуры определенных классов и идей серьезно ограничивали свободу научного поиска. В науковедении и социальной истории науки проблема влияния политики на науку неоднократно поднималась. На разных полюсах находятся две модели. По одной, ученый только обслуживает политическую систему. По другой — является экспертом, а политики обращаются к ученым за экспертизой и принимают свои решения, основываясь на мнении экспертов. Исследования феномена взаимодействия науки и политики показали, что политики предпочитают черпать из научного знания только то, что вписывается в их политическое мировоззрение или дает политические бонусы²³.

²² Колчинский Э. И. Указ. соч. С. 14.

²³ Грундманн Р., Штер Н. Власть научного знания. СПб., 2015. С. 29–30.

То есть, политик, вне зависимости от формы политического режима и социальной структуры общества, все равно относится к науке потребительски.

В Советском Союзе это оказалось многократно усилено. Здесь не просто использовали научное знание как источник легитимности строя и его политики, но и была создана система, наладившая бесперебойное производство знания, задачей которого являлось обоснование действий режима уже постфактум. Ученые и производимое ими знание не просто использовались, но и являлись одним из столпов существовавшего строя.

В последние годы особой популярностью пользуются дискурсивные²⁴ исследования, задачей которых объявляется изучение процесса подчинения индивидуума (или социальной группы) дискурсу власти²⁵. Показывается, как навязываемая властью риторика формирует восприятие окружающей реальности, определяет поведение и т. д. В случае со сталинской эпохой это проявляется особенно ярко. Наглядно видно, что научный мир вольно и невольно оказался «встроен» (как и остальное общество) в дискурсивные конструкции власти, которые навязывались через пропаганду, многочисленные партийные институты, печать, кино, музыку и т. д. Ученый вынужден был действовать в мире, где его поступки оценивались с точки зрения дискурса власти, а не этических норм научной корпорации.

Описанная выше специфика советской науки являлась и неотъемлемой чертой собственно исторической науки. Тесная связь научной среды с властью, борьба за ограниченные ресурсы, особенности функционирования научно-исторического сообщества — все это было обыденностью и частью карьерного пути советского ученого-историка. К счастью, для настоящих ученых это не являлось единственной реальностью, поскольку главным для них оставались знание и научное творчество.

2. Советская историческая наука последнего сталинского десятилетия в исследовательской литературе

Советская историческая наука 1920–1950-х гг. — феномен противоречивый и неоднозначный, поэтому ее оценки также не отличаются единообразием²⁶. Продолжающиеся дискуссии о специфике ее развития, сущностных характеристиках, наследии и т. д. только это подчеркивают. Историографическая традиция осмысления данного периода неразрывно связана с феноменом сталинизма²⁷. Причем

²⁴ Дискурсом, по определению Д. Филда, является «цельная словесно-идеологическая система, отражающая нужды и чаяния определенной социальной группы» (Орлов И. Б. «Человек исторический» в системе гуманитарного знания. М., 2012. С. 9, сноска 11).

²⁵ См.: Дейк Т. ван. Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке коммуникации. М., 2013.

²⁶ См.: Степанов М. Г. Феномен советской историографии в современных исторических исследованиях // Известия Алтайского гос. университета. 2008. № 4/5. С. 196–202; Ипполитов Г. М. Еще раз о феномене советской историографии // Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Научно-практический журн. 2012. № 11/12.

²⁷ Об осмыслении сталинизма в отечественной и зарубежной историографии см.: Историография сталинизма. Сб. ст. / Под ред. Н. А. Симония. М., 2007; Кип Дж., Литвин А. Эпоха

на это указывалось еще в советское время. Так, в «Очерках истории исторической науки в СССР», несмотря на господство в них концепции поступательного развития исторической науки путем усвоения ленинских идей, признавалось: «Развитие исторической науки тормозилось из-за имевшихся тогда место нарушений ленинских норм партийной жизни, проявлений начетничества, догматизма, что было связано с культом личности И. В. Сталина»²⁸. Любопытно отметить, что в вышедшем в 1982 г. учебнике по советской историографии для вузов фигура Сталина по сути обойдена молчанием²⁹. Тем не менее, труды, касающиеся истории исторической науки военного и послевоенного периода, продолжали писаться в духе «официального оптимизма»³⁰. Наиболее ярко это проявилось в монографии А. С. Барсенкова³¹, впрочем, вызвавшей критические отклики за указанную концепцию сразу же после выхода³². Несмотря на явные недостатки, обусловленные временем, данные работы вводили в научный оборот определенную фактическую базу и ряд интересных наблюдений.

С иных позиций советская историческая наука оценивалась в зарубежной историографии. Так, С. Томпкинс и А. Мазур, рассмотревшие процесс развития исторической науки в СССР в 20–30-е гг., пришли к выводу, что в 30-е гг. советская историография превратилась в послушное орудие партии³³. Особое внимание уделялось культу личности Сталина. В схожем ключе рассуждали авторы известного сборника «Переписывая русскую историю», которые видели основную тенденцию в переходе исторической науки под контроль идеологии и нарастании догматизма³⁴. К. Ф. Штеппа в своей монографии «Русские историки и советское государство» (1962) вообще отказывал советским историкам в научности³⁵.

Большой интерес представляет книга американского историка Лоуелл Тиллетт «Великая дружба: Советские историки о нерусских народах», опубликованная в 1969 г.³⁶ В монографии подробно рассматриваются перипетии эволюции

Иосифа Сталина в России. Современная историография. М., 2009; Чельцова Е. А. Феномен «сталинизма» в отечественной историографии // Проблемы российской историографии середины XIX — начала XX в. М., 2012. С. 206–278.

²⁸ ОИИИ. Т. 5. С. 6.

²⁹ Историография истории СССР. Эпоха социализма / Под ред. И. И. Минца. М., 1982.

³⁰ Трансформация образа советской исторической науки в первое послевоенное десятилетие: вторая половина 1940-х — середина 1950-х гг. / Под ред. В. П. Корзун. М., 2011. С. 9.

³¹ Барсенков А. С. Советская историческая наука в послевоенные годы: 1945–1955. М., 1988.

³² Трибицов Ю. М. Необоснованные претензии на серьезное изучение важной темы // Вопросы истории. 1989. № 2. С. 152–155.

³³ Соловей В. Д. Процесс становления советской исторической науки (1917 — середина 30-х гг.) в освещении американской и английской историографии // История СССР. 1988. № 4. С. 201–202.

³⁴ Black C. E. History and politics in the Soviet Union // Rewriting Russian History. 2 ed. New York, 1962. P. 3–33.

³⁵ Соловей В. Д. Указ. соч. С. 205.

³⁶ Tillet L. The Great Friendship: Soviet Historians on the Non-Russian Nationalities. Chapel-Hill, 1969.

официальной концепции национальных историй народов СССР, внедряемых властью. Несмотря на отсутствие архивного материала книга до сих пор представляет огромный интерес и является единственной, где дается обобщающая картина проблемы. В последние годы проблемой национальных историй в СССР активно занимался Харун Йылмаз³⁷. Опыт работы над изучением данной проблематики говорит о том, что это особое и перспективное направление исследований, до сих пор тающее много неожиданных открытий.

Если в советское время единственно правильной признавалась концепция поступательного развития исторической науки (можно еще добавить — от съезда к съезду), то в конце 1980-х — начале 1990-х гг. стали звучать диаметрально противоположные высказывания. На фоне концепции тоталитаризма историческая наука в СССР часто стала представляться либо как безвольная служанка идеологии, либо как жертва тоталитарного режима³⁸. Разномыслие в среде советских историков полностью не отрицалось, но рассматривалось лишь как случайное или негипичное явление. Так, Г. А. Герасименко писал: «Историки оказались в положении людей, которым связали руки: им устанавливались границы познания, ограничили доступ к архивам и поставили их деятельность под строжайший административный контроль. Положение, в которое они попадали, не имело аналогов в прошлом»³⁹. Из печати вышла серия монографий и сборников очерков, в которых показывалась непростая судьба историков в сталинскую эпоху⁴⁰.

Наиболее известным изданием, где критический подход к советской историографии был доведен до логического конца, стала коллективная монография «Советская историография» под редакцией Ю. Н. Афанасьева. В программной статье, предварявшей издание, Ю. Н. Афанасьев оценил советскую историографию как «особый научно-политический феномен, гармонично вписанный в систему тоталитарного государства и приспособленный к обслуживанию его идейно-политических потребностей»⁴¹. По сути, отрицался статус советской историографии как науки. Статьи, составившие книгу, отстаивали тезис, согласно которому существовал «нормальный мир» западной науки и «ненормальный», советский мир.

Параллельно выходили и другие издания, где давались несколько другие оценки. Например, Институтом российской истории РАН была опубликована коллективная монография «Историческая наука России в XX веке»⁴². Пафос издания заключался в том, что советская историческая наука, несмотря на идеологический пресс, имела значительные достижения, объективная оценка которых — задача

³⁷ Yilmaz H. National Identities in Soviet Historiography: The Rise of Nations under Stalin. London; New York: Routledge, 2015.

³⁸ См.: История и сталинизм. Сб. ст. / Сост. А. Н. Мерцалов. М., 1991.

³⁹ Герасименко Г. А. О взаимоотношении тоталитаризма и исторической науки в СССР // Россия в XX веке: историки мира спорят. М., 1994. С. 660.

⁴⁰ Кобрин В. Б. Кому ты опасен, историк? М., 1992; Литвин А. Л. Без права на мысль. Историки в эпоху Большого террора. Очерки судеб. Казань, 1994; Пугачев В. В., Динес В. А. Историки, избравшие путь Галилея. Статьи, очерки. Саратов, 1995; и др.

⁴¹ Афанасьев Ю. Н. Феномен советской историографии // Советская историография / Под ред. Ю. Н. Афанасьева. М., 1996. С. 37.

⁴² Историческая наука России в XX веке / Отв. ред. Г. Д. Алексева. М., 1997.

историографии. Заметим, что данный постулат не увел авторов от показа репрессий и влияния идеологии на развитие советской науки.

Нельзя сказать, что данные издания сгруппировали вокруг себя сторонников принципиально разных точек зрения. Однако полемика продолжилась уже в индивидуальных работах. Так, А. П. Логунов (один из авторов и научный редактор книги «Советская историография») вновь категорично отказался признавать научный статус советских исследований истории⁴³. В свою очередь Г. Д. Алексеева обрушилась на авторов «Советской историографии», обвиняя их в дилетантизме и политической ангажированности⁴⁴. Тем не менее, при ближайшем рассмотрении, становится ясным, что принципиальной разницы между содержанием двух книг нет. В обеих сделан акцент на внешний фактор развития науки (репрессии, идеологию, политику и т. д.), история предстает как слуга или жертва тоталитарного государства⁴⁵.

В чем же причина этой принципиальной схожести? Думается, что ответов тому несколько. Во-первых, такого ракурса рассмотрения истории исторической науки требовала логика изучения «белых пятен», т. е. наименее известных или искаженных фактов. А во-вторых, повлияло господство концепции тоталитаризма (явное или неявное ее признание), в которой контроль советского режима над умами жителей представлялся всеобъемлющим. Данный подход сыграл свою положительную роль, позволив рассмотреть многие перипетии нелегкой судьбы историков и их трудов. Но позволил ли он ответить на вопрос, что собой представляла советская историография, в чем ее промахи, а в чем достижения? К сожалению, приходится ответить скорее отрицательно. Предложенный подход не объяснял многих проблем. Например, не находило объяснения существующее разномыслие в среде историков; не ясны были причины и мотивация их поступков; однобоко представлялась связь между властью и корпорацией ученых и т. д.

Немалый интерес представляет неопубликованная диссертация М. А. Леушина «Документы ВКП (б) (КПСС) как источник по истории исторической науки в СССР: 1945–1955 гг.» (М., 2000). Исследователь предлагает источниковедческий ракурс проблемы, анализирует основные комплексы опубликованных и архивных источников. В работе показана колоссальная важность партийных документов для реконструкции истории исторической науки в указанный период. Особое внимание уделено собранию сочинений И. В. Сталина, выходящему в 1946–1951 гг. М. А. Леушин справедливо считает, что публикация сочинений способствовала догматизации канона сталинской исторической идеологии. Автор одним из первых в историографических исследованиях обратил внимание на важность протоколов партсобраний и заседаний партбюро научных и научно-образовательных учреждений. Сильной стороной диссертации является введение в научный оборот множества ранее не известных источников и фактов.

⁴³ Логунов А. П. Отечественная историографическая культура: современное состояние и тенденции трансформации // Образы историографии. Сб. ст. М., 2001. С. 7–58.

⁴⁴ Алексеева Г. Д. Историческая наука в России. Идеология. Политика (60–80-е годы XX века). М., 2003. С. 5, 53 и др.

⁴⁵ Данный подход экспрессивно реализован в статье: Хорошкевич А. Л. Вред и польза истории // Историографический сборник. Вып. 22. Саратов, 2007. С. 145–194.

Нельзя сказать, что в 2000-е гг. ситуация кардинально изменилась. Тем не менее, изучение фактов и поиск новых методик исследования продолжается. Причем этот поиск отражает основные закономерности изучения советского периода в целом. Нарастает тенденция, сутью которой является признание советской исторической науки особым феноменом, но при этом подчеркиваются и ощутимые достижения советских историков. Значительная часть историографов пришла к выводу, что советские историки не просто выполняли политический заказ, но ощущали себя частью советской системы и марксистско-ленинской методологии. «Приверженность ленинской концепции и убежденность в правильности сделанного Россией в октябре 1917 года социалистического выбора, в искренности которых нет оснований сомневаться, были частью мировоззрения создателей отечественной историографии экономического развития нашей страны применительно к началу XX века»⁴⁶, — считает Г. Н. Ланской. Данная мысль, казалось бы, очевидная, на словах признаваемая подавляющим большинством специалистов в области историографии, редко находит реализацию в конкретных исследованиях.

На фоне весьма заметных изменений в историографических исследованиях формируется целый ряд новых подходов к изучению советской исторической науки в 1930–1950-е гг. Отметим лишь те, которые непосредственно касаются избранной проблематики. Первый из них ориентирован на анализ трансформации советской исторической науки в рамках концепции «национал-большевизма». Броская метафора, обозначающая поворот советской идеологии от интернационализма к советскому патриотизму и возрождению государственных ценностей, стала знаменем целого направления исследований по исторической идеологии 1930–1950-х гг. Наиболее цельно данный подход был выражен в монографии Д. Л. Бранденбергера, вышедшей на английском в 2002 г. и изданной на русском языке в 2009 г.⁴⁷, а также нашедший воплощение в серии сборников статей⁴⁸. Как переход от интернациональной к имперской модели исторического нарратива описан поворот в послевоенной сталинской исторической политике в статье А. В. Гордона⁴⁹.

В российской историографической литературе наиболее последовательное применение данная концепция нашла в монографии А. М. Дубровского, ставшей весьма заметным явлением в современной науке⁵⁰. В работе, насыщенной

⁴⁶ Ланской Г. Н. Отечественная историография экономической истории России начала XX века. М., 2010. С. 48.

⁴⁷ Brandenberger D. L. National Bolshevism. Stalinist Mass Culture and the formation national identity, 1931–1945. Cambridge, Massachusetts — London, 2002; Бранденбергер Д. Национал-большевизм. Сталинская массовая культура и формирование русского национального самосознания (1931–1956). СПб., 2009.

⁴⁸ Например: Epic revisionism. Russian History and Literature as Stalinist Propaganda / Ed. M. F. Platt and David Brandenberger. Wisconsin, 2006.

⁴⁹ Гордон А. В. Революционная традиция и имперские модели: Историческая наука последнего сталинского десятилетия // Историк и власть: советские историки сталинской эпохи. Саратов, 2006. С. 96–135.

⁵⁰ Дубровский А. М. Историк и власть: историческая наука в СССР и концепция истории феодальной России в контексте политики и идеологии (1930–1950-е гг.). Брянск, 2005.

архивными документами, абсолютное большинство которых вводится в научный оборот впервые, подробно разобран процесс развития в 1930-е гг. исторической науки в идеологическом контексте. Детально освещается создание новых школьных учебников. Большое внимание уделено военному и послевоенному времени, показаны основные события идеологических кампаний и их влияния на историческую науку. Между тем, автор ориентирован на изучение взаимозависимости истории и идеологии и не всегда ставит своей целью рассмотрение корпорации историков как самостоятельного феномена и субъекта процесса. Вне поля зрения историографа оказались процессы, проходившие внутри научно-исторического сообщества.

Данный пробел в значительной степени заполняют работы Л. А. Сидоровой⁵¹, являющиеся примером структуралистски ориентированной историографии с элементами историко-антропологического подхода. В них в качестве устойчивой структуры выделяются поколения (генерации) историков, которые в работах этого автора предстают интегральной категорией, позволяющей не только вычленить особенности научного творчества, присущие разным поколениям, но выйти на изучение повседневной жизни историков, рассмотреть субкультуры, сформировавшиеся в их среде. Главное, что такой взгляд позволяет рассмотреть сообщество профессиональных историков не как нечто безлико серое, но как сложную комбинацию различных групп и личностей, с их стратегиями научного творчества и поведения в рамках корпорации. Например, Л. А. Сидорова выделяет три модели восприятия марксизма: догматическую, творческую и формальную⁵². Это позволило понять, почему в равных идеологических и научных условиях разные историки предлагали разные решения одних и тех же проблем.

Некоторые сюжеты, относящиеся к идеологическим кампаниям позднего сталинизма, можно найти в монографии Л. А. Сидоровой, посвященной исторической науке эпохи «Оттепели»⁵³. В ней рассматриваются гонения на историков С. Б. Веселовского, А. И. Андреева, обсуждение «Истории Казахской ССР» и т. д.

Плодотворным можно признать и подход, предполагающий исследование советской исторической науки через призму ключевых для нее проблем. На широком круге источников, большей частью архивных, он был реализован в монографии С. В. Кондратьева и Т. Н. Кондратьевой. Анализируя споры вокруг французского абсолютизма, авторы показали полемику и столкновение различных ученых

Обзор литературы см. также в статье: Дмитриев А. Н. Время историков // Неприкосновенный запас. 2007. № (55) // <http://magazines.russ.ru/nz/2007/55/dm21.html> (дата обращения — 04.03.2015)

⁵¹ Сидорова Л. А.: 1) Проблема «отцов и детей» в историческом сообществе // История и историки. 2002. М., 2002. С. 29–42; 2) Духовный мир историков «старой школы»: эмиграция внешняя и внутренняя. 1920-е годы // История и историки. 2003. М., 2003. С. 168–192; 3) Межличностные коммуникации трех поколений советских историков // Отечественная история. 2008. № 2. С. 129–137; 4) Советская историческая наука середины XX века. Синтез трех поколений историков. М., 2008; и мн. др.

⁵² Сидорова Л. А. Советская историческая наука середины XX века... С. 97.

⁵³ Сидорова Л. А. Оттепель в исторической науке. Советская историография первого послесталинского десятилетия. М., 1997. Глава 1.

на личностном уровне. Особое внимание было уделено такой колоритной фигуре, как Б. Ф. Поршнев⁵⁴.

По-новому позволяет взглянуть на советскую историческую науку монография канадско-украинского историка Сергея Екельчика⁵⁵. Автор отказался от взгляда на историков как на безвольных слуг режима и показал, как украинские историки принимали самое деятельное участие в создании советской концепции истории Украины. В этом смысле можно говорить об активном, хотя и специфическом, сотрудничестве власти и национальных историков.

В рамках омской историографической школы вышло несколько трудов, касающихся разбираемого хронологического отрезка. Среди них и диссертационные исследования Н. В. Кефнер⁵⁶ и Н. А. Кныш⁵⁷, в которых послевоенная историческая наука рассматривается через призму менталитета и повседневной жизни ее творцов (как историков, так и идеологов).

Особое внимание омские исследователи уделили изучению образа науки в послевоенное время. Первоначально В. П. Корзун использовала апробированную в науковедении категорию «образ науки» для анализа историографической ситуации рубежа XIX–XX вв. Данная категория, по мысли историка, должна дополняться культурно-историческим подходом. Это позволило В. П. Корзун рассмотреть представления ученых-историков о собственной профессии на широком культурно-историческом фоне⁵⁸. Логическим следствием применения данного подхода стало появление коллективной монографии «Трансформация образа советской исторической науки в первое послевоенное десятилетие: вторая половина 1940-х — середина 1950-х гг.»⁵⁹. В книге поднимаются многие темы. Среди них: социальное пространство бытования советской науки и его изменение, роль отдельных личностей, их поведенческие стратегии. Центральной проблемой является анализ образа науки, транслируемого сверху идеологами, и рецепции его сообществом профессиональных историков. У предложенного подхода есть как плюсы, так и определенные минусы. Концентрация на изучении образа науки в условиях советского государства неизбежно направляет исследователя на изучение официозных текстов и дискурсивных практик, оставляя зачастую за скобками реальные представления и социальные стратегии ученых.

⁵⁴ Кондратьев С. В., Кондратьева Т. Н. Наука «убеждать», или Споры советских историков о французском абсолютизме и классовой борьбе (20-е — начало 50-х гг. XX века). Тюмень, 2003.

⁵⁵ Екельчик С. Імперія пам'яті. Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві. Київ, 2008.

⁵⁶ Кефнер Н. В. Научная повседневность послевоенного поколения советских историков: Автореф. дис... канд. ист. наук. Омск, 2006.

⁵⁷ Кныш Н. А. Образ советской исторической науки в первое послевоенное десятилетие: Автореф. дис... канд. ист. наук. Омск, 2009.

⁵⁸ Корзун В. П. Образы исторической науки на рубеже XIX–XX вв. Екатеринбург; Омск, 2000.

⁵⁹ Трансформация образа советской исторической науки в первое послевоенное десятилетие: вторая половина 1940-х — середина 1950-х гг. / Под ред. В. П. Корзун. М., 2011.

По сути антропологический характер имеет концепция известного специалиста по истории Французской революции А. В. Гордона. Для осмысления феномена советской исторической науки он оперирует термином «культура партийности». «Культура партийности», в понимании автора, это специфический элемент советской историографии, основанный на возведенных в религиозную догму требований, пришедших из партийных кругов. «Совокупность квазирелигиозных черт советской историографии обобщается в книге в концепте “культура партийности”. Речь идет о глубоко ритуализованном мышлении, о наличии свода предписаний, о хождении специального языка для посвященных. Во главу угла любой работы полагались в качестве высшей научной инстанции цитаты из классиков, в любой библиографии их фамилии, наряду с партийными документами, ритуально следовали в нарушении алфавита впереди списка и даже выше источников. Ритуализовались и толкования цитат: не все из них и не всякому дано было использовать, важнейшие подлежали официальному апробированию»⁶⁰. Все это воплощалось в «каноне», своде непреложных истин (теории отражения, формации, классовой борьбы и т. д.), освященном авторитетом классиков марксизма-ленинизма и рьяно охраняемом идеологами. При этом А. В. Гордон признает известную автономность многих областей исторического знания, указывает, что на конкретно-описательном уровне влияние канона было слабым. Страдали, по мнению автора, теоретические исследования⁶¹. Несмотря на указанные черты, исследователь все же признает советскую историографию наукой, имеющей все компоненты научного знания⁶².

Стоит задаться вопросом, насколько предложенный концепт позволяет адекватно анализировать советскую историографию? Думается, что он имеет право на существование. Ритуализованность, специфические каноны — явления, присущие любому научному знанию, в большей или меньшей степени. В советской исторической науке это проявилось особенно отчетливо, а многие ее характерные черты проникли в науку именно из партийной среды. В то же время надо помнить и другое. Конечно же, роль советских историков состояла отнюдь не в представлении альтернативного марксистскому подходу взгляда на русскую историю, а в обосновании и конкретизации тех нечетко озвученных классиками марксизма-ленинизма и официальными идеологами концепций, которые должны были стать отправной точкой в научном исследовании. Но именно здесь и возникла «лазейка» для, в известной степени, самостоятельной интерпретации проблем, поскольку цитаты классиков марксизма-ленинизма и официальные директивы звучали туманно, были фрагментарны и зачастую оторваны от конкретно-исторического материала.

Несомненной находкой А. В. Гордона является рассмотрение советской исторической науки как части партийной культуры своего времени. Данный подход открывает новые возможности в исследовании феномена науки сталинской эпохи.

Не все позитивно оценили эти концептуальные поиски. По мнению С. Б. Криха, родовым пороком концепции «партийности» А. В. Гордона является объяснение

⁶⁰ Гордон А. В. Великая Французская революция в советской историографии. М., 2009. С. 9.

⁶¹ Там же. С. 10.

⁶² Там же. С. 360.

специфики советской исторической науки через «автохарактеристику», то есть терминологию, которую навязывала советская эпоха. С его точки зрения, необходимо «попробовать смоделировать некую системную характеристику, которая была бы уже целиком порождением современного понимания труда историка, а потому оказалась бы в состоянии претендовать на статус более или менее адекватного инструмента познания нашего прошлого»⁶³. Оставим за скобками очевидный факт, что такой подход приведет к модернизации и презентизму, и подчеркнем, что зачастую естественный язык гораздо лучше отражает исторические реалии, чем очередной терминологический конструкт. С. Б. Крих рискует оказаться в роли советского ученого, пытающегося втиснуть многообразный мир социальных отношений, скажем, античности или средневековья, в жесткую классовую структуру. Материал, конечно, сопоставляется, но настойчивость исследователя сделает свое дело.

Еще один подход к изучению советской исторической науки был предложен А. Л. Юргановым. Для осмысления феномена сталинизма в исторической науке автор вводит понятие «жизненный мир» историков, подчеркивая, что адекватно объяснить эпоху можно только поняв смысловой контекст жизни ее вольных и невольных творцов. К сожалению, Юрганов не склонен подробно останавливаться на этом методологическом нововведении, указывая только, что заимствовал его у Ю. Хабермаса и Э. Гуссерля⁶⁴. Основное внимание в монографии, насыщенной новыми источниками, уделяется поиску в 1930–1940-е гг. советскими историками концептуального консенсуса по проблеме формирования русского национального государства. Автор справедливо подчеркивает: «Трудно согласиться с теми исследователями, которые предлагают рассматривать явление сталинизма так, как будто во всех областях и сферах жизни сталинизм был одинаков»⁶⁵. При этом Юрганов подмечает, что современные историографы нацелены на изучение лишь тех историков, в судьбах которых «прослеживается сопротивление диктатуре»⁶⁶. «Но сталинизм в исторической науке — это не только давление сверху, но и постепенное, добровольное — со стороны большинства историков — включение в свой жизненный мир цитат из трудов Сталина»⁶⁷. В этих условиях Сталин представляется автором книги как своеобразный «модератор» (термин Юрганова) идеологической системы, в которой абсолютной истиной обладает только он сам, а остальные пытаются приблизиться к ней.

В своей книге Юрганов подробно остановился на ряде сюжетов, касающихся исторической науки 1930-х — 1940-х гг. В центре его внимания оказались процессы идеологической трансформации и перестройки исторического фронта в 30-е гг. Особенно подробно он коснулся совещания историков в ЦК ВКП (б) в 1944 г.

⁶³ Крих С. Б. Язык советской историографии: основные характеристики // Ученые записки Казанского университета. Серия «Гуманитарные науки». Том. 156. Кн. 3. Казань, 2014. С. 214.

⁶⁴ Юрганов А. Л. Русское национальное государство. Жизненный мир историков эпохи сталинизма. М., 2011. С. 12.

⁶⁵ Там же. С. 673.

⁶⁶ Там же. С. 674.

⁶⁷ Там же.

Из послевоенного времени детальному разбору подверглась дискуссия о формировании русского национального государства.

История археологии, в том числе и последнего сталинского десятилетия, представлена в монографии известного историка А. А. Формозова⁶⁸. В ней через судьбы археологов автор стремится показать колоссальный урон, который нанесло науке вмешательство идеологии. Сложность процесса функционирования археологии и этнологии в условиях позднего сталинизма раскрыта в прекрасной статье С. С. Алымова. По его мнению, «наука, будучи частью идеологии (в широком смысле), развивалась не столько в сугубой зависимости от нее, сколько параллельно, в связке с ней, впитывая также различные черты культуры своего времени»⁶⁹. Влиянию послевоенной эпохи на изучение истории античности посвятили отдельные разделы своих монографий Э. Д. Фролов⁷⁰ и С. Б. Крих⁷¹. Судьбы славяноведения подробно рассмотрены в работах М. Ю. Досталь⁷².

Большой интерес представляет статья А. В. Свешникова, освещающая процесс влияния идеологии на советскую медиевистику в 1930–1940-е гг. В ней показан механизм мобилизации знания о средневековье в политических целях, вовлечение корпорации медиевистов в идеологическую систему. По наблюдению автора, именно в послевоенное время происходит «советизация» отечественной медиевистики: «...После войны медиевистика в СССР из бывшей части интернационального научного предприятия становится дисциплиной советской уже отнюдь не только номинально — она стала органической частью системы советской науки, мало отличаясь в этом плане от других отраслей гуманитарного знания»⁷³. В содержательном плане кампании трактуются автором следующим образом: «Следует заметить, что космополитизм был лишь внешней, случайной, по сути, формой, в которую воплотилась ищущая выхода “жажда борьбы” разных поколений и группировок. Поиски врага шли еще до начала развязывания этой кампании»⁷⁴.

⁶⁸ Формозов А. А. Русские археологи в период тоталитаризма. Историографические очерки. 2-е изд. М., 2006.

⁶⁹ Алымов С. Космополитизм, марризм и прочие «грехи»: отечественные этнографы и археологи на рубеже 1940–1950-х годов // Новое литературное обозрение. 2009. № 97 // <http://polit.ru/article/2009/08/26/alymov/> (дата обращения — 24.05.2014)

⁷⁰ Фролов Э. Д. Русская наука об Античности. Историографические очерки. 2-е изд. СПб., 2006. С. 437–560.

⁷¹ Крих С. Б. Образ древности в советской историографии. М., 2013.

⁷² Досталь М. Ю.: 1) Кафедра славянской филологии в МГУ (1943–1948) // Славяноведение. 2003. № 5. С. 32–47; 2) «Пичетники» на кафедре истории южных и западных славян в МГУ (1943–1947) // История и историки: историографический вестник. 2006. М., 2007; 3) Как Феникс из пепла... (Отечественное славяноведение в период Второй мировой войны и в первые послевоенные годы). М., 2009; 4) Проблемы этногенеза славян в трудах отечественных ученых в годы Второй мировой войны и первые послевоенные годы // История и историки: историографический вестник. 2009–2010. М., 2012. С. 98–117; и др.

⁷³ Свешников А. В. Советская медиевистика в идеологической борьбе конца 1930–1940-х годов // Новое литературное обозрение. 2008. № 90 // <http://www.polit.ru/article/2008/07/09/medievistika/> (дата обращения — 04.03.2015)

⁷⁴ Там же.

В осмыслении судеб историков-медиевистов крайне важна работа В. Рыжковского, подчеркивающего роль внутрикорпоративных конфликтов в условиях идеологического прессинга⁷⁵. Рассматривая сущность идеологических кампаний в исторической науке, он пишет: «С точки зрения социальной истории сама череда кампаний совершенно справедливо рассматривается как форма, в которой нашла выход борьба остепенившихся к тому времени “красных” профессоров за возросшие привилегии академического поля, что предполагало оттеснение старой группы специалистов»⁷⁶. Последнее утверждение, представляется, недостаточно полно отражает реальность.

В определенном смысле промежуточный итог изучению советской исторической науки сталинской эпохи подводится в монографии О. Каппеса⁷⁷. Работа построена вокруг двух основных проблем: взаимоотношений корпорации историков с советской властью и самопрезентации исторической науки в постсоветских историографических исследованиях и мемуарах. Для решения поставленных проблем автор сравнивает немецкий опыт существования науки при нацистском режиме и «проработки» в последующем прошлого своей дисциплины немецкими историками. Он исходит из положения об особом феномене «воинственной» науки, являющейся частью идеологических практик диктаторского режима. Этос «воинственной» науки проецировался не только на исторические исследования, но и формировал характерные способы поведения ученых в данной культуре⁷⁸. Для объяснения степени вовлеченности исторической науки в партийно-государственную систему О. Каппес использует понятие «ступенчатого» компромисса, заключающегося в серии уступок власти, совершенных к взаимной выгоде. По мнению исследователя, ступени компромисса оказались следующими: 1) избегание открытого противостояния с властью; 2) постепенное, часто ритуальное, включение идеологических основ в научные труды; 3) совпадение интересов власти и историков, позволяющее найти точки соприкосновения для добровольного сотрудничества. В случае с советской исторической наукой таким совпадением интересов стал «поворот 1934 г.», когда частично были возвращены дореволюционные нормы исследования и статусы историков⁷⁹.

Вторым вектором анализа О. Каппеса стала деконструкция самопрезентации наследников советской исторической науки. По его мнению, стремление оправдать и смягчить критику по отношению к компромиссу сталинских времен объясняется стремлением к положительному самописанию дисциплины, а также боязнью потерять символический капитал учеными, пришедшими в профессию в советское время.

⁷⁵ Рыжковский В. Советская медиевистика and beyond // Новое литературное обозрение. 2009. №97 // http://polit.ru/article/2009/09/18/ryzhkovskiy/#_ednref26 (дата обращения 25.05.2014)

⁷⁶ Там же.

⁷⁷ Каппес О. «Воинственная» наука: Проработка прошлого диктатур в германской и российской историографиях второй половины XX века. М., 2015.

⁷⁸ Там же. С. 81. Примечание 82.

⁷⁹ Там же. С. 243–257.

Книга О. Каппеса выводит целый ряд проблем на новый концептуальный уровень. А ее компаративистский ракурс позволяет выявить как общие черты, так и альтернативы в развитии исторической науки в условиях диктаторских режимов. В то же время хотелось бы дополнить исследование сравнением советской исторической науки сталинской эпохи не только с немецкой времен национал-социализма, но и с наукой в условиях демократических режимов Франции, Великобритании и США. Это позволит выявить больше специфических и типичных черт функционирования поля науки в различных условиях.

Помимо комплексных исследований своеобразный историографический комплекс образуют издания, посвященные научным и научно-образовательным институтам (университетам, кафедрам, академическим институтам и т. д.). Особенно богата традиция подобного рода трудов об историческом факультете МГУ⁸⁰, историческом факультете СПбГУ⁸¹ и Историко-архивном институте⁸².

Огромное количество работ носят персонифицированный характер. Различные тезисы докладов, статьи, публикации источников и монографии посвящены судьбам конкретных историков и касаются и интересующих нас сюжетов. Одно их перечисление займет немало места, поэтому ограничимся упоминанием только широко известных изданий сборников биографий⁸³, а также монографиями, посвященными наиболее важным для темы историкам⁸⁴.

Значительное внимание в историографии⁸⁵ уделялось влиянию идеологических кампаний и дискуссий на различные научные дисциплины. Особый интерес привлекли дискуссия по языковедению⁸⁶, феномен судов чести и особенно «дело КР»⁸⁷,

⁸⁰ Историческая наука в Московском университете. 1934–1984. М., 1984; Досталь М. Ю. «Борьба с космополитизмом» на историческом факультете МГУ весной 1949 г. // Интеллигенция и власть / Под ред. А. И. Студеникина. М., 1999. С. 167–175.

⁸¹ Брачев Б. С., Дворниченко А. Ю. Кафедра русской истории Санкт-Петербургского университета. СПб., 2004.

⁸² Простоволосова Л. Н., Станиславский А. Л. История кафедры вспомогательных исторических дисциплин. М., 1990; Хорхордина Т. И.: 1) Корни и крона: Штрихи к портрету Историко-архивного института (1930–1991). М., 1997; 2) Гуманитарный университет в Москве. История идеи. М., 2012; и др.

⁸³ Историки России XVIII–XX веков. Вып. 1–7 / Отв. ред. А. А. Чернобаев. М., 1995–2000; Историки России. Биографии / Отв. ред. А. А. Чернобаев. М., 2001; Портреты историков: Время и судьбы. Т. 1–5. М., 2000–2009.

⁸⁴ Горская Н. А. Борис Дмитриевич Греков. М., 1999; Панеях В. М. Творчество и судьба историка: Борис Александрович Романов. СПб., 2000; Лурье Я. С. История одной жизни. 2-е изд. СПб., 2004; Тихонов В. В. Московские историки первой половины XX века: Научное творчество Ю. В. Готье, С. Б. Веселовского, А. И. Яковлева и С. В. Бахрушина. М., 2012; Каганович Б. С. Евгений Викторович Тарле: историк и время. СПб., 2014; и др.

⁸⁵ Обзор литературы о кампании против космополитизма см.: Генина Е. С. Кампания по борьбе с космополитизмом в СССР в оценках отечественных исследователей 1990-х — начала 2000-х гг. // Вестник Кемеровского гос. университета. 2011. № 4. С. 22–27.

⁸⁶ Алпатов В. М. История одного мифа. Марр и марризм. М., 1991 (2-е изд. — 2004); Илизаров Б. С. Почетный академик Сталин и академик Марр. М., 2012.

⁸⁷ Есаков В. Д., Левина Е. С.: 1) Дело КР. Суды чести в идеологии и практике послевоенного сталинизма. М., 2001; 2) Сталинские «суды чести». Дело КР. М., 2005.